



Елена Крюкова

Тибетское
Евангелие

роман

Елена Крюкова

Тибетское Евангелие

Серия «Самое время!»

На рынке в южном городе мальчик по имени Исся встречает купцов. Купцы с караваном путешествуют по Азии. Они берут с собой в далекий путь отрока: мальчику хочется увидеть дальние страны. Два тысячелетия спустя в морозной таежной Сибири, в Иркутске, живет человек. Он уже стар, прошел афганскую войну. Врачи говорят ему, что он проживет недолго. И он решает совершить последнее паломничество к озеру детства — к нежно любимому Байкалу. Незадолго до ухода из дома стариk побывал на органном концерте. Музыка, что играла молодая органистка, перевернула ему душу. Уже собравшись в дорогу, стоя перед зеркалом, он видит не старика Василия, а босого юношу в старинном плаще, с котомкой за плечами... Что произойдет с Иссой и Василием на их долгом пути? Какие невероятные события и приключения их ждут? Снежные вершины Гималаев, индийская Мать Зверей, битвы и предательства, тайные слезы и великкая любовь... Какую цену платит человек за то, чтобы достигнуть Света? В основу романа Елены Крюковой положен известный апокриф о путешествии молодого Иисуса в Азию — в Индию, Гималаи и Тибет..

*Олегу Ермакову, с
радостью
и благодарностью*

АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ ГЛАГОЛЕТ: СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

Мальчик стоял посреди рынка, и рынок гудел вокруг. Вспыхивал огнями апельсинов. Золотыми кувшинами дынь. Россыпями топазов-изюмов. Вился дымными усами благовоний. Пестрел дикими коврами. Вихрился солнечными цветными шелками, привезенными из звездной Индии, из страны Офир, из Тира и Сидона.

У мальчика пересохли губы: он хотел пить.

У него было с собой несколько монет, и он мог купить на них себе вкусного питья — хорошего сладкого синего дамасского вина, и разбавить его холодной водой, и так пить; или свежевыжатого сока померанцев, или сока тыквы, смешанного с пахтой и крепким зеленым чаем, — кочевники зовут такой напиток «хурч», а еще они добавляют в него коровьего масла, — но мальчик хотел, перетерпя жажду, на невеликие деньги свои купить матери своей удовольствие: украшение, или моток шерсти для вязанья, или малую птичку.

Он стоял посреди рынка, и к нему подошел, жадно перебирая пальцами в воздухе, торговец птицами. Птицы сидели в клетках за спиной торговца; птицы сидели у него на плечах; птицы вцеплялись коготочками ему в волосы, и торговец смеялся от щекотки.

— Ах, чудо, чудо! — зазывно запел торговец, подойдя к мальчику. — Ах, великое чудо!

И, вторя завыванию торговца, разом запели все птицы: у него за лопatkами, у него на плечах, у него на голове.

Мальчик поглядел на торговца. Он увидел его затылок. Он был выше птичника ростом.

— Ах, чудесный мальчик! — сладко завывал коротышка- птичник. — Купи, купи птичку! Птички драгоценные! Птички роскошные! Птички — загляденье! А поют! Заслушаешься! Царь Соломон, в блеске и славе своей, слыша моих птичек на золотом троне своем, засмеялся бы от радости и счастья!

Мальчик засунул руку в карман холщового серого

плаща. День жаркий, а голова мальчика непокрыта: ни белого платка с черной перевязью, ни полосатой накидки, ни тюрбана. Птицы пели, заливались. Мальчик вытащил из кармана руку и разжал ладонь. Торговец по-птичьи изогнул шею и рассмотрел монеты. Два ассария. Всего-то?!

Нищего улещает. Тыфу. А одет чисто! Мать, должно быть, заботится. Или жена.

Молод для жены? И в тринадцать лет в пустыне женят. А мальцу на вид все пятнадцать.

— Дай мне белую птичку, — тихо попросил мальчик.
— Вон ту.

И указал пальцем, какую.

Птичка сидела на темечке у торговца и пела громче всех.

— Белую, а-а-а! — запел торговец и широко развел руками, не сводя глаз с монет на ладони мальчика. — Два ассария! Всего два ассария! Как раз два! Угадал! Два всего лишь!

Мальчик протянул руку. Птичник схватил монеты с ладони острыми пальцами, как птичьим клювом.

— Бери! Бери смело! Не улетит! Ручная!

Мальчик робко поднял руки и осторожно снял с головы торговца маленькую белую птичку. Птичка испуганно чирикнула. Мальчик нежно посадил ее за пазуху, под плащ. Шептал ласково: не бойся, не бойся. Птичник изучающе проколол раз, другой иголками зрачков лицо мальчика. Загорелое, сожженное пустынным солнцем и песчаными ветрами лицо птичника, похожее на горелую корку пресного хлеба, смялось подобострастной, корявой улыбкой. Из растрескавшейся губы потекла на подбородок темная кровь.

— Еще эту возьми! Эту! Синюю! Цветом как сапфир царя Соломона, да счастливо ему живется там, за облаками, в виду Всемогущего!

— У меня больше нет денег, — сказал мальчик. Птичка высовывала белую головку из-под холщовой теплой складки.

— Нет денег?! Нет дене-е-е-ег! А-а-а-а-а! — запел торговец громче, выразительней. — А-а-а-а-а! Не поверю! Никогда не поверю! Никогда не поверю, что у такого богатого славного благородного юноши нет денег, а-а-а-а!

За спиной мальчика закачалась тень и заслонила его голову от жестокого солнца.

— Кто тут обижает кого?! Бьет?!

— Никто никого обижает и не бьет, господин! — Птичник согнул спину в поклоне, и птицы в клетках у него на загорбке громко заверещали. — Мальчик купил у меня птичку, господин!

Мальчик обернулся. Перед ним стоял рослый широкоплечий человек в розовом шелковом тюрбане. Надо лбом в тюрбан вставлен крупный, странный красный камень — мальчик таких никогда не видал ни на рынке в ювелирных рядах, ни в ушах и на шеяхочных продажных женщин из Храмового квартала. Гладкий камень, старательно обточенный, с неровными краями; будто вознеслась красная прозрачная морская волна на закате — и застыла.

Черные густые брови человека срослись над переносицей. Он говорил по-арамейски.

— Ты правда купил птицу?

— Правда.

Мальчик отогнул ворот плаща. Птичка вертела головой, косила черным зерном глаза.

— Как тебя зовут?

— Иssa.

— Хочешь есть?

— Я не голоден, — улыбнулся мальчик.

— Хочешь поглядеть на красоту?

— Хочу.

Густобровый человек в розовом тюрбане протянул мальчику руку, и мальчик доверчиво взял ее. И так, рука в руке, они двинулись через весь рынок, и рынок гомонил вокруг них, идущих, и птичник пристально, жадно смотрел им вслед, и по лбу птичника из-под полосатой накидки катился мелкий соленый пот, и птицы, помолчав, снова запели в клетках, сплетенных из высохших прутьев иорданской ивы, у него за спиной.

Человек в розовом тюрбане подвел мальчика к прилавкам на самом краю обширного рынка. На грубо сколоченных столах и на земле, в пыли возле, лежали узорчатые ковры, длинные кривые ножи и короткие кинжалы в богато изукрашенных болотной яшмой, тусклыми глазами рубинов и мелким жемчужным пшеном, серебряных и стальных ножнах. В широкой и

глубокой чаше навалены синие, цвета зимнего неба, камни величиной с перепелиное яйцо. Мальчик зачарованно смотрел на бирюзу. Перевел взгляд на искусно выточенную из черного обсидиана кошку. Глаза кошки горели зеленью. Два изумруда.

— Египетские копи, — горделиво сказал купец в розовом тюрбане и потрогал кончиком пальца кошачьи глаза. — Слава мастеру, что сделал. Гляди! Такого нигде не увидишь!

Мальчик погладил каменную кошку по холодной голове. Птичка за пазухой чвиркнула раз, другой.

— Вы это все продаете?

Улыбка кошачьим хвостом мазнула по губам купца.

— Все на свете продается и покупается, отрок! — Снисхождение звучало в голосе. — Ты разве об этом не знаешь?

— Не все, — тихо сказал мальчик, а ясные глаза смотрели прямо в лицо мужчине, смело, достойно.

Купец отвел взгляд. Розовый румянец взбежал ему на широкие смуглые скулы.

— Я поспорю с тобой!

— Ты не поспоришь со мной. — Голос мальчика был тих и весел. — Разве ты никогда не дарил подарки? Тем, кого любишь?

Краска стыда на щеках купца потемнела. Солнце поднималось выше, пекло нещаднее.

— Ты без накидки, — смущенно, ворчливо сказал купец. — На! Держи!

Сдернул с торгового стола серую накидку из верблюжьей шерсти — бишт, протянул мальчику. Мальчик, улыбаясь, принял; надел.

Из-за стола на них глядели три пары веселых глаз. Белки пылали синим светом, катались под бровями не хуже бирюзы. На грубых пальцах, и толстых и худых, горели под солнцем перстни. Крупные богатые камни сверкали с вызовом. Шелковые тюрбаны, под стать струистым атласным халатам, кричали о довольстве и веселии хозяев.

— Мы с друзьями давно торгуем и, как видишь, радуемся жизни! — Купец в розовом тюрбане широко повел в воздухе загорелой рукой, и на его безымянном пальце тоже сверкнул особо драгоценный перстень: камень, с куриное яйцо, странного серо-лилового, зловещего цвета, остро вспыхивал изнутри алыми

пожарищными огнями. — Мы знаем вкус жизни, цвет ее и радость! Мы знаем вкус и пользу денег! А также вкус земных наслаждений знаем мы! На заработанные торговлей деньги мы все можем купить! Все, что пожелаем! Лучших, красивейших женщин! Не только шлюх, но и изысканных гетайр! Лучшую еду! Лучших коней! А гляди, какие у нас верблюды! — Смуглый жесткий, деревянный палец гордо указал на громадных, длинношеих, опущенных вислой шелковистой, золотистой шерстью, и впрямь роскошных верблюдов, крепко привязанных перевитыми веревками к заостренному столбу; сбруя, расшитая мелкими перлами, искрилась на солнце. — Не бедствуем мы! Радуемся мы! Чего ж еще желать?

Мальчик погладил по головке и спинке птичку, совсем вылезшую из-за пазухи. Птичка медленно, цепляясь коготками, переместилась из-под плаща на плечо.

— Прав ты, — сказал мальчик, — желать больше нечего.

Улыбка жгла ему губы.

И купец в розовом тюрбане понял: в сердце прокралась тревога.

Тревожно стало ему от этой улыбки, горько, больно. С чего бы?

Хотел замахнуться. Прогнать насмешника, негодяя!

Еще и накидку ему пожаловал!

— А вы издалека привозите красоту? — вдруг спросил мальчик, блеснув глазами. — Путешествуете?

Купец видел, видел свет, что загорелся на дне широко расставленных юных глаз.

Свет любопытства. Жажда простора.

И купец, вместо пощечины злой, улыбнулся отроку в ответ.

И я, Ангел Господень, видел из-под купола чистых и жарких небес, как мальчик и купец обменялись немногими, но важными словами; обменялись записками на тонких и узких полосках пергамента из нежной козьей кожи, прибитых к кедровым дощечкам; как на прощанье улыбнулись друг другу, уже без насмешки и страха, и глубоко заглянул розовый от волнения купец в глаза непонятного отрока, широко, как у молодого бычка, расставленные подо лбом; и

долго глядел ему, уходящему с птичкой за пазухой,
вослед.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИССЫ. ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ

Очень маленький человек, а казался себе непомерно большим. Много горя пережил.

У него на одиноком медном крючке в коридоре висел странный такой тулуп овечий, самосшитый, не помнит уже, кто сшил ему: то ли мать покойная, то ли тетка покойная, а покойная жена звала одежонку по старинке — зипун, так и он его стал называть: сверху серо-грязное плотное сукно, из такого шинели военным шили, снизу белая курчавая овчина к сукну пришита; за длинную жизнь проторся до дыр на локтях, моль побила толщь армейского сукна и мездру, но лишь кусок вывернутого внутрь, к теплу тела, старого овечьего меха спасал его в морозы.

Лютые морозы, стальные морозы.

Накрывался зипуном поверх одеяла. Ноги к подбородку поджимал. Дрожал. Согревался. И мерз опять.

Синие искры и стрелы мороза бежали по стеклу слепого окна, слагались в узоры и надгробные цветы. А он все не хотел умирать.

Он не хотел умирать, хоть смерть ему назначили безусловную и скорую. Никто не знает часа своего, это так, а он знал, ему — сказали.

Непомерно огромная жизнь прошла. Вся уместилась на ладони.

Ладонь твердая, кожа наждачная, мозоли у основанья пальцев, ближе к ладони, будто от весел. Будто б он всю жизнь работал гребцом. Что он делал руками? Ну да, работал.

Работали руки на всяких работах, изломались в костях, устали. Он ушел от всех работ, уволился отовсюду. «Как ты будешь жить?» — спрашивали его чужие, хриплые голоса. «Никак», — пожимал плечами, смеялся. «Никак — это значит не жить?» — тоскливо уточняли голоса исливались в один серый волчий, меховой шорох. Наоборот, усмехался, только сейчас жить и начну.

Собирал пустые бутылки на задах заснеженных дворов, по оврагам, по пустырям, около бензиновых

гаражей; пел над бутылками песню, когда домой приносил и раскuttывал, как дитяточок, бережно вынимая из рваного заплечного мешка, притворявшегося ранцем.

Ел скучно. Жалкие деньги вырывались из кулаков ветхими сухими листьями, серебряными голыми рыбками. Уплывали. Вот бы и мне уплыть, подумал однажды чисто, беззлобно.

Куда уйти? Куда исчезнуть? О, исчезнуть от людей, вот счастье.

Ведь нужен Путь, и высчитать надо время, что пробудет в Пути.

И дойдет куда? Кто в объятья примет его? Кто простит?

У него в каморке висели две родовые, древние, избыные, лубяные, первобытные иконы. На одной горело темным, страшным золотом лицо Женщины, она крепко прижимала к груди Ребенка. А иной раз ему казалось — Старика. С другой пронзительно, беспощадно глядел Старик. Глядел сквозь его живую грудь. Сквозь стену. Сквозь ночную метель глядел, и зрачки его упирались в ледянную жесть крыши и в мертвые звезды. Если долго глядеть на Старика, он становился Ребенком.

И тогда он путал возрасты и времена.

И себя путал с кем-то другим, Иным, ему неподобным.

На столе торжественно и робко расставлял снедь: испеченную в печке, в жарко-синих и розовых углях, гнилую картошку, хрустальную старинную солонку с крупной серой солью, толсто нарезанный ржаной хлеб. Чай наливал в граненый стакан, стакан робко дрожал-колыхался в медном кривом подстаканнике — велик был подстаканник стакану, и велика была ему его жизнь: спили кому-то чужому на вырост, а вот ему — по ошибке — досталась.

И только отщипывал от хлеба и клал черную пахучую, вкусную мякоть в рот, — в дверь звонили либо стучали, и он тихо, мелким шепотком, матерился.

Друзья приходили внезапно, крикливо и надоедливо. Все меньше их становилось. Он не знал, куда себя спрятать от них. Кипятил воду не в чайнике — у чайника носик отвалился давно, — в старой сожженной кастрюле; заваривал гостям чай прямо в чашках, и

чашек год от года становилось все меньше. Расползались чашки, как тараканы. «Эх, Вася-Василек, — усмехались друзья, прихлебывая чай безо всякого там сахара или варенья, — эх, дружище, совсем обеднял ты! Жениться б тебе надо, а?» Он пожимал плечами: одно плечо торчало выше, другое ниже, такой сутулый был он, почти горбатый.

Один его дружок, наибольший надоеда, длинный как жердь-слега, он звал его Петрович, вот так однажды пил-пил пустой его зеленый чай — да и раскололся: вытянул из кармана книжечку без начала и конца, да ведь и без обложки, с обгорелыми страницами.

— В печке, что ли, сожгли! — беззлобно он воскликнул, помешивая ложечкой в граненом стакане невидимый, сказочный сахар.

А Петрович вооружился очками с разными стеклами: одно увеличивало глаз, другое уменьшало, и два глаза мерцали под заляпанными жирными стеклами, как куриное яйцо и перепелиное яичко, — развернул книжку, будто носовой платок, сейчас сморкнется! — и прочитал ему медленно, важно:

— «Когда он пересек Страну Пяти Рек и Раджпутану, поклонники бога Джайны просили его поселиться среди них. Но он покинул заблуждавшихся поклонников Джайны и отправился в Джаггернаут в землях Ориссы, где покоятся смертные останки Вьясы-Кришны и где белые жрецы Брахмы оказали ему радушный прием. Они научили его читать и толковать Веды, исцелять молитвами, разъяснять народу Священные Писанья и изгонять злых духов из тел человеков, возвращая им здравие». А? Каково?

Он ничего не говорил, обдумывая услышанное. Ложечка звенела в стакане. На миг ему почудилось — в стакане стоит маленький человечек, похожий на него, только очень старый, совсем старик; белые волосы игрушечного старичка треплет невидимый ветер, и старик вцепился сухими крючьями пальцев в край стакана, как в закраину лодки.

— Это сказка? — спросил он, вынув ложку из стакана. Поднес ложечку к губам и осторожно, по-зверьи, снял с нее губами невидимую святую сладость, и проглотил, и улыбнулся.

— Нет, не сказка это! — обиженно сказал приятель и поправил на носу очки, и толстое стекло сверкнуло

дальней зарницей. — Это правда! Это про путешествие какого-то, едриТЬ его, Иссы по разным экзотическим странам, вот это что! Слушай, классная книга! Я прочитаю — и тебе дам! Обязательно!

— Дай, Петрович. Пожалуйста, — наклонил он голову и потер ладонью мохнатую щеку.

— А может, тебе бритву подарить? — Голос Петровича сверкал шуткой, голодом и весельем. — А у тебя пожрать-то чего есть, окромя хлебца и картохи?

— Однако есть.

Он сел на корточки и полез в старый шкаф. Дверца заскрипела, посуда загремела, чашки и тарелки, из которых уже никто и никогда не ел и не пил, обреченно свалились друг на друга внутри шкафной фанерной коробки.

— Ну и музыка! — прокричал Петрович сквозь посудный грохот. — Ты че там шаришь, Василек? Да ну ее в задницу, еду эту! Это я просто так сболтнул, прости!

Он поймал в руки тарелки, как скользких, бьющихся живых рыб, втолкнул обратно — грудью, животом, — а живыми крючками дрожащих пальцев вынул из шкафа сверток. Разогнулся, шагнул к столу. На столешнице медленно, важно разворачивал промасленную желто-серую бумагу. Запахло солью и слезами.

— Блин, Васька, ты прям как бабу раздеваешь, — хохотнул дружок. — А чо у тебя ручонки трясутся-то так сильно? Пить надо меньше! Пить... надо... меньше... — кивнул на водочные, пивные бутылки в углу.

Пальцы разворачивали бумагу дальше, витки манускрипта вились и отваливались, наконец, свиток развернулся весь, и обнажилась, сверкнув коричнево-серебряной старушьей чешуей, длинная, как сабля, рыбина.

— Сколько она у тебя тут лежала?.. ах, накормишь щас... блевать буду... червяки, поди, уж в ней... Ах, хороший омулек, рыбочка, ры-ы-ы-ыбочка...

Он глядел на рыбу, как на старинный драгоценный меч, вынутый из ножен. И правда, видом она была чисто меч: узкая острая башка, плоское брюхо, стройный, клином, ножевой хвост. Он взял ее в руки, как ребенка, и шумно, с наслаждением нюхнул.

— Ну чо, под рыбку-т надоть ить водочки?

Петрович подмигнул ему обоими глазами — куриным и перепелиным яйцом, и он захотел —

сначала тихо и дробно, потом все сильнее и раскатистее. Он давно не смеялся.

— Есть у меня. Берёг, — тихо сказал.

Вытащил из-за печки, из-под кровати, бутылку. Она початая была. Зубами затычку сдернул. Крикнул Петровичу зло и весело: допивай чай, быстро! Петрович испуганно выхлебнул из чашки весь чай, чуть не поперхнулся. Он разлил водку — всю: Петровичу в чашку, себе в стакан. Прежде чем разрезать рыбину, еще повертел ее в руках, еще понюхал, будто бы помолился ей. Потом взрезал омуля — грамотно, ловко, быстро, даром что рыбина от долго лежанья в шкафу затвердела, как доска.

Они выпили водку, всю сразу, до дна, и сначала нюхали рыбу и скрипело крякали, потом долго, радостно, как звери, грызли. Столетней давности омуль оказался вкусным и терпким, соль щипала язык, от водки велась вбок и вверх, танцевала и крутилась, загоралась огнем голова, горячела грудь, там, где сердце.

Когда взвеселевший Петрович собрался восвояси, он, пьяненький и добрый, на радостях оставил Василию, сунул в руки, как поленце, чтобы печь растопил, размахренную, обожженную книжицу: на вот, пес с ней, возьми, развлекись, ночи-то все равно долгие у тебя, а за свет ты платишь? «Не плачу», — мотнул он кудлатой сивой, тяжелой как гиря головой, а внутри ему отзывалось: «Не плачу».

В больничке, где он лежал, больные в палате не церемонились, сказали ему ясно и просто: да, батька, ты ж весь изранен напрочь, ну ты смотри на все философски, тебе ведь немного осталось, так что пейгуляй в свое удовольствие! А врачи тебе уж ничем не помогут, ничем! «Ничего тебе, Василий-царь, не вырежут и ничего не вставят, — прокряхтел врач, сидя возле него на краю его койки на последнем, перед выпиской, обходе, — ну вот совсем ничегошеньки! Прострелен ведь насквозь, искорежен, живого места нет... Да тело б ладно... Башка у тебя... Я б тебе никогда не сказал, да жаль мне тебя, уйдешь отсюда без правды! Правда — ведь она лучше обманки?» Врач сделал такое движение ртом и рукой, будто курил. Наверное, хочет закурить, подумал он. Пошарил под матрацем, вытащил пачку папирос. Вот, курите, молча, вежливо сказали его

рука и глаза. Врач замахал толстенькой мягкой лапкой, будто муху отгонял: «Что вы, что вы! Папиросы! Да я их... сто лет назад... Все уж сейчас сигареты!.. а вы...» Он повел кривым ртом вбок и упрятал пачку обратно под матрац. «А у меня на сигареты денег нет».

Пустой дом ожег его пустыми глазами окон. Стекла шкафов хохотали. Чашки скалились щербатыми фарфоровыми ртами. Он схватил со стола чашку и швырнул ее об стену. Звон отрезвил его, и он тихо, нежно, неслышно заплакал над собой, над приговором своим. Он оплакивал свою смерть, будто б она была живая и вот умерла, и вот лежит перед ним в гробу.

Всю ночь он пролежал, глядя в затянутый паутиной потолок. Совсем один, вот ведь штука!

А сколько в целом мире людей совсем одних?

Утром встал, оделся, надел свой старенький овчинный зипунчик, шапку напялил по самые брови — и вышел из дома, лишь бы идти, перебирать ногами. Деньги в кармане водились: звякала мелочь, шуршали бумажки — вчера он сдал найденную стеклотару. Он искал бутылки в оврагах и на задворках, как грибы. И они сами его находили. Поэтому он сегодня был богатый, очень богатый. И сам себе завидовал. И шел вперед. И слезились глаза. И дрожали в улыбке губы.

Родной холодный город на берегу ледяной зеленой реки, где он прожил всю жизнь, сыпал ему в глаза, в лицо куревом и фонарями, руганью и звоном трамваев, смехом и блеском наглых витрин, искусственной резьбой деревянных наличников и дрожащими над головой проводами, облепленнымиискрами куржака. И ветки деревьев тоже были обвалины в сахарном куржаке; куржак свисал с ветвой старинным кержацким кружевом, плыл перед лицом царицыным лунным покрывалом, осыпался призраком мертвой свадьбы, мертвых крестин, мертвых похорон. И он шел по городу, не зная, не чувствуя, идет ли; а может, уже летит, а может, он уже умер!

«Я живой, я живой, — шептал он себе заледеневшими, жесткими губами, — я еще живой, нет, врешь, гадина, живой».

Перед глазами вымахнула и растаяла в метели яркая красная бабочка афиши. Он остановился, вернулся, чтобы рассмотреть. «ЛИДИЯ ЯНОВСКАЯ. ОРГАННЫЙ

КОНЦЕРТ. ПРОГРАММА: ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ. ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА СОЛЬ-МАЖОР. ФАНТАЗИЯ И ФУГА СОЛЬ-МИНОР. ПАССАКАЛЬЯ ДО-МИНОР. ТОККАТА И ФУГА РЕ-МИНОР. НАЧАЛО В 18 ЧАСОВ. БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ».

А-а, сказал он себе под нос, ага! Музыка! Музычка, концертики, играют всякие Лидочки...

У первого же прохожего спросил: не знаете, где тут у нас на органе играют? Прохожий сначала осклабился: на органе или на органе?! — но, поймав злой высоверк его маленьких зверьих, из-под бровей, глаз, осекся: «Да напротив Крестовоздвиженской церкви старый польский костел, там органный концертный зал, вот туда и идите». И окинул его ледяным, поганым ушатом пошлого взгляда: интересно, чего это тебе, лахудренок замызганный, в органном-то зале филармонии понадобилось? Или, может, милостыньку поклянчить желаешь? Так там и храм рядом, все путем.

Он вошел в костел и долго, мучительно отряхивал зипун, плечи, рукава, шапку от снега — разъярилась метель, а он до самого вечера все бродил по городу, изредка заходя погреться в кафе или в пельменные. Так до концерта и добрел. Гардеробщица с сомнением ощупала его, бедняка, и одяшку, барсучьими глазами; он молча, церемонно показал ей купленный в кассе билет. Денег на билет хватило, и еще осталось, завтра еще он купит еду, завтра не умрет. Вместе со всеми, с гомонящей живой публикой он, приговоренный и уже почти неживой, негнувшимися ногами поднялся по маленькой лестнице и вошел, вплыл в темный, как озеро, зал, прозрачный, холодный, мрачный.

Люди плыли призрачно и медленно, как рыбы, в полумраке, расплывались по рядам, искали свои места, рассаживались, гомонили, пересмеивались, умолкали. Умолкала жизнь. Умолкало слово. «Сейчас будет музыка», — радостно и страшно подумал он, и иглы священного мороза мгновенно, больно искололи его горбатый позвоночник.

Сцена слепила желтыми плахами половиц, будто бы, как в избе, наскошенных ножом до золотого света, натертых вонючей мастикой до скользкости льда. На высоких каблуках пошла по желтому льду из-за кулис высокая тонкая женщина, нет, девчонка совсем, или

издали девчонкой казалась. Он вскинул больные, набрякшие красным огнем веки — и зажмурился: серебряные органные трубы пронзили потолок, развернулись веером, и солнечные люстры щедро кинули снопы и связки лучей в гладкий металл, и трубы вспыхнули, звучали лишь светом, лишь тишиной.

Тишина. Она еще стояла, как синяя, мрачная вода в заливе. Под звездами. В виду острых, как топоры, грубых, как рыбацкие скулы, скал.

Тонкая девочка в блестящем синем платье, видимо, расшитом настоящими ночных звездами, дошла до органа, ловко села, рыбкой скользнула на скамью, и он увидел, как за ее спиной вырос такой же тонкий, как она, мальчик. «Зачем тут мальчишка?» — яростно спросил он себя; он уже не хотел, чтобы рядом с музыкантшей кто-то чужой и лишний мотался. Мальчик в черном строгом костюмчике быстро, один за другим, выдернул из органной панели штифты, быстро развернул на пульте ноты, длинные, как древний свиток, быстро поправил над головой у органистки узкое, как омуль, зеркальце. «Блин, как в машине зеркало, а куда ж она поедет-то?»

И музыка навалилась сразу, огромным рыбьим ли, нерпичьим брюхом.

И подмяла под себя. И он задохнулся.

Гремели снега. Выли метели. С ног его сбивал ветер, и он грозил ветру кулаком, и падал на колени, и валялся в снегу, катался, и катил его ветер по снегу, по насту, как пустой бочонок, — и он поднимался, и он шел, все-таки шел! Он шел между деревьев, между толстых рыжих стволов огромных кедров, над головой мотались бешеные ветки, хлестали иглами щеки, — и, отодвинув рукой в гостице колючую черную марь, он увидел эту широкую синь. Это серебро. Этую волю и свет.

И шагнул из тьмы — на свет, на свободу.

Боже мой, Озеро! Вода! Мой дом! Вот ты какой.

Тебя зовут Байкал, я знаю. Я это знал давно.

Ты синий дом, ты ледяной окоем. Ты изогнут лазуритовой ложкой, и я ем из тебя, ты питаешь меня. Ты пытаешь меня простором, ибо я маленький и конечный, а ты — необъятный и бесконечный. Ты искривлен саблей, и ты вздымаешься над шеей предателя и слабака. Ты любишь сильных, не

маленьких; и я пришел к тебе, видишь, я долго шел и пришел.

Музыка ветра, греми! Звените, кедровые иглы! Бухайтесь оземь, о серебряный наст, шишки величиной с голову ребенка! Я свободен, я бросил все, я все разбил, предал и пропил, все продал и все прокутил, и я бегу к тебе! Гудят кедры. Гудит вода под ветром. Как, Байкал, ты еще не застыл?! Ну да, все в снегу, на дворе декабрь, а лед обнимет тебя только в январе, когда уже индиговая, медная вода не выдержит звездных морозов. Байкал, вот я весь перед тобой, перед музыкой твоей; прими меня и прости меня, ибо я ведь к тебе, только к тебе и шел всю жизнь. Я занимался черт-те чем; я волынил, зарабатывал, пропивал, кувыркался с бабами в теплых и утлых постелях, женился, расставался, хоронил, дрался, жрал, пил и спал. Я — жил. Я — жил?! Если это жизнь, тогда, Байкал, ты — что же?!

То, что я творил, это не жизнь. Это игра в жизнь.

Я перед тобой, бездонная музыка моя; перед тобою, бездна. Ты — бездна! В синей бездне твоей погребется, пропадет все наносное, все недужное, все роскошное и мишурное, ибо ты прост и прозрачен, и гигантским, длинным, как рыба твоя омуль, синим кривым зеркалом ты отражаешь небо. Байкал, ты — колыбель! Ты — выгиб нимба земной, земляной иконы, брови коей — увалы и хребты, глаза — реки текущие, шея, коса и руки — отроги, лощины да золотая, чермная тайга, а уста — бруслица кислая, терпкая, желанная. Цвета неба, цвета царского изумруда светящийся нимб, ореол! Выгиб крыла ангелицы; выгиб руки, а в руке я лежу, маленький, смертный, несчастный. Бай-Кель, Белая Вода! Дай глотнуть. Глотну — не умру. Как оглушительно гудят твои кедры! Как поют твои птицы! Как ветер твой свистит в ушах! Дай мне жизнь, прошу тебя. Дай мне жить. Я ж не жил еще. Дай мне прибрести на берег, ближе к тебе, еще ближе. Встать на колени. Нагнуться, чтоб шея заныла. Губами к воде припасть. Вхлебнуть синюю ледянную влагу. Поцеловать тебя.

И тогда уж — бери меня, Владыко.

Женщина за органом, похожая на обряженную в церемонное дамское платье озорную школьницу, нажимала черные клавиши, раскачивала корпусом взад-вперед, помогая пальцам всем телом извлекать из

Конец ознакомительного фрагмента.
Для приобретения книги перейдите на сайт
магазина «Электронный универс»:
e-Univers.ru.